

ДО СИДНЕЯ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

РАССКАЗ



АНАТОЛИЙ НИРИЛИН

Родился в 1947 году в Барнауле. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Жизнь проходит, а я все еще не был в Австралии! Я не был во многих других местах, но за Австралию почему-то особенно обидно.

С каждым днем все больше глупостей слышно из телевизора, но кто и когда сказал, что оттуда должны сообщать другое? Поменяйте взгляд на вещи, и вещи встанут на свои места. А что касается Австралии... За собственным благополучием никто не слышит сигнала о неблагополучии кого-то. Неблагополучия точно в таком же объеме. Или больше. Или меньше. И совсем не обязательно этот кто-то пьян и подзаборен. Словечко из стихотворения моей любимой...

Нет, про Австралию вспомнилось непроста. Двор наш – пространство между шестью пятиэтажными домами – занимал территорию немалую. Посреди него огромным и чужим островом помещалась усадьба деда Сабурова. Кто-то, отдаленно знавший про географию, и назвал усадьбу, обнесенную корявым забором, Австралией, намекая, очевидно, на одиночество ее посреди чужого мира. Такая дикость – клочки частного сектора среди новостроек в самом центре города – в те пятидесятые да и еще в начале шестидесятых не была редкостью. Эти усадьбы теснили, выдавливали из жизни всем миром – от городских властей до дворовой шпаны, к отряду которой примыкал почти всякий достигший двенадцатилетнего возраста.

Между забором деда и общежитием котельного завода, тоже пятиэтажкой, царствовал огромный тополь, метрах в пяти над землей разошедшийся в три ствола. В этой развилке был сооружен шалаш, и там, в боевом штабе местного воинства, разрабатывались планы набегов на дедово хозяйство. Не сама же дворовая мелкота придумала, кто-то из взрослых подсказал, кивнув на усадьбу, – кулак. А раз так – наше дело правое, победа будет за нами, и подрастающая братва усердствовала в сотворении козней деду. Была у него корова, пара свиней, куры, огород – как я немного позднее выяснил – обычное деревенское хозяйство. Может, это и не давало покоя горожанам в первом, втором, от силы третьем поколении? Во всяком случае, не помню, чтобы кто-то из соседей высказал патриархальный трепет, вздрогнул ноздрями, когда от дедова подворья тянуло запахом сена и скотского присутствия.

Моя мать родом из Питера, как и многие котельщики, перевезенные сюда вместе с заводом Ильича после прорыва блокады. Отец – из белорусского города Бобруйска, он приехал на завод случайно, занесло послевоенным вольным ветром.

– Герка! – кричит мать из нашего окна на пятом этаже. – Прекрати материться!

Матюги и треск сабуровского малинника стихают, следом Герка кричит из темноты:

– А ваш Толька тоже матерится!

Это, понятное дело, про меня. Суднишниковы жили прямо под нами, стало быть, окна выходили туда же, куда и наши. Только суднишниковым родителям дела не было ни до Геркиного мата, ни до самого Герки, одного из пятерых сыновей, которых все звали Оторва первый, Оторва второй и так далее, по старшинству.

Дед Сабуров жил вдвоем с бабкой. Та, в отличие от хозяина, в войнах с дворовой шпаной не участвовала, вообще была тихой, и мы даже думали – немой. Никто слова от нее не слышал. Однажды видели, как плачет, но тоже как-то по-особенному тихо. Герка привязал корову к забору, зацепив веревку за рог, и изо всей силы хлестанул животину кленовым прутом. Та ломанулась прочь и оставила рог на веревке. Бабка приложила к ране чистую тряпицу, обняла кормилицу и заплакала. Дворовый народец торжествовал, завидуя Геркиной удали.

Мы учились с Геркой в одном классе. Я был скучный пятерочник и, помимо школы, ходил в две спортивные секции и авиамодельный кружок, Герка – двоечник и хулиган, большую часть времени, в том числе школьного, проводил во дворе. С нами училась Рита Сабурова, в которую Герка был безумно влюблен. Рита приходилась внучкой деду-кулаку, их дом, тоже частный, стоял неподалеку от нашего двора и сильно отличался от дедовой покосившейся хибары. Это был каменный, оштукатуренный особняк за глухим высоченным забором, жили в нем, судя по всему, люди непростые, очевидно, какое-то начальство. По Рите это было видно: ее школьная форма выделялась особенным фасоном и качеством, накрахмаленные фартучки и пышные банты делали ее нарядной в самый будничный день. Свою любовь Герка выражал обыкновенно: лупил всякого, кто посмеет подойти к Рите. Меня почему-то не трогал, может, из-за того, что мой отец поколачивал его родителя, а тот, в свою очередь, дня не проходило, чтобы не порол Герку. Силу у нас уважали. Стычки старшего поколения происходили в основном по праздникам, когда Геркин отец поднимался к нам с разборками. Шумим, дескать. Это было смешно, потому как у нас гуляли только по красным числам, а у Герки – каждый день. Другое дело, у нас пели под отцовский баян, плясали, а внизу ругались, били друг друга лица и посуду, ломали мебель. Наверное, нижним было обидно, что у них так, а не этак.

Я сидел за одной партой со Светкой Евдокимовой, которая еще в первом классе призналась мне

в любви. Иногда я пересаживался к Рите, сидевшей почему-то в одиночестве, и, тихо смущаясь, пытался залезть к ней под юбку. Она отбивалась, а Светка ерзала на своем месте и метала в нас испепеляющие взгляды. В такие дни Герка лупил по несколько претендентов на Ритино сердце.

Герка среди нас был переростком – и по возрасту, и по росту, и по сложению. К шестому классу у него уже вовсю чернели усы, и физрук Николай Александрович советовал ему начать бриться. Взрослые говорили, будто у него не все в порядке с умственным развитием, но это, мы так думали, касалось только уроков. Хотя – кто знает... В подвале общежития была женская душевая, и мы все подглядывали в замызганные зарешеченные оконца, для чего надо было припасть к самой земле. Комендант ходил по квартирам, жаловался родителям на всех нас по очереди. Битые, мы на некоторое время оставляли порочное занятие, только Герку вразумить было невозможно, он как-то даже кинулся драться с комендантом, чтобы тот не мешал подсматривать. Геркина озабоченность смущала даже нас, озабоченных, может быть, не меньше. Он совал свое мужское достоинство в любую щель или отверстие. Однажды поймал дедову курицу и пытался ее изнасиловать, в другой раз это была кошка. Предусмотрительный Герка натянул на руки веревки, чтобы избранница не поцарапала его, но не подумал о причинном месте. Травмированный, он долго ходил нараскаряку.

Жить после середины 50-х мы стали лучше, сытней. Если сначала форсом было выйти на улицу с куском хлеба, посыпанным сахаром, а то и сахаром по маслу, то теперь – в одной руке булка, в другой – колбаса. Мать моя работала бухгалтером все на том же котельном заводе, отец мастером, потом заместителем начальника цеха. Переместиться по служебной лестнице выше ему не позволяло образование, он даже школу толком не окончил.

У нас, первых во всем подъезде, появился телевизор, КВН с крохотным экраном, и соседи, от первого до пятого этажа, ходили к нам на просмотры, со своими стульями, конечно. Геркин отец не ходил, был он человеком немстительным, но обиды не забывал. Где-то в эту же пору, помню, всем подъездом затаскивали к нашим соседям напротив пианино, дочку хозяев записали в музыкальную школу. Мой отец, игравший по праздникам на баяне, откинул лаковую крышку и заиграл вальс «Амурские волны»... Потом мне приходилось

Старый хозяин мужественно держал оборону в одиночку. Немного позднее я понял, почему он не жаловался и не ждал ни от кого сочувствия. Наши родители, как и мы, не знавшие деревни, получали уроки истории, на которых владельцы коровы и пары свиней, названные кулаками, должны были по решению верховной власти отправляться продолжать свою жизнь далеко на севера.

видеть его с гитарой в руках, с балалайкой, но так и не довелось узнать, каким образом он научился играть на том, на этом? Дома у него отродясь не было, всю жизнь скитался бродягой, пока на войну не попал. Какие уж там могли быть уроки музыки!

Дед Сабуров терпел все больший урон от беспощадных дворовых оглоедов. Однако не помню, чтобы хоть раз в дело вмешалась милиция. Старый хозяин мужественно держал оборону в одиночку. Немного позднее я понял, почему он не жаловался и не ждал ни от кого сочувствия. Наши родители, как и мы, не знавшие деревни, получали уроки истории, на которых владельцы коровы и пары свиней, названные кулаками, должны были по решению верховной власти отправляться продолжать свою жизнь далеко на севера.

Никогда не видел, чтобы Рита приходила к деду, это было тем более странно, что жили они в паре сотен метров друг от друга. Судя по всему, Ритин отец и вправду был большим начальником,

наверное, поэтому семья не общалась с дедом, этим чужим, непонятным наростом на здоровом теле обновляющегося города и всей новой жизни, которая, по заверениям тогдашних руководителей государства, в скором будущем станет раем на нашей благословенной земле.

А Рита росла и расцветала, она уже была красавицей со сформировавшейся фигурой, грудью, тогда как другие наши одноклассницы все еще смотрелись гадкими утятами. Я несколько раз провожал ее домой, зная, что Герка крадется следом, прячась за дворовыми деревьями. К тому времени я уже перестал хватать Риту за коленки и пытаться пробраться выше, как-то само собой это занятие перешло в разряд ненужных. Но вот почему мы ни разу не поцеловались – до сих пор понять не могу. Думаю, она не была против, но когда мы стояли друг перед другом, во взгляде ее сквозила непонятная взрослость, не подпускающая к ней близко. Ни у кого больше не видел я таких глаз – прозрачных, нежно тронутых молочной зеленью – как минерал хризолит. Много позднее я узнал, что хризолит – это по гороскопу мой камень... Потом я вызывал из дома Светку, жившую по соседству, и мы целовались до кровавых трещин на губах.

Моя созревающая плоть не давала покоя мыслям, которые все время крутились вокруг женского тела, благо подвальный женский душ предоставил для того богатую натуру. Или наоборот, мысли мои грешные чрезмерно бередили плоть? Попробуй ответить, это вопрос из разряда «что появилось раньше, курица или яйцо?». Жили мы в двухкомнатной квартире с соседями, семейной парой – Абрамом и Любой. Двухметровый еврей с застенчивыми глазами за толстыми стеклами очков – говорили, он был талантливым инженером. Кем была его жена – никто не знал. Он стеснялся ее скандального нрава, замашек коммунального ратника, визгливого голоса и прятался в своей комнате, едва Люба начинала кухонные разборки. Повод она находила всегда. У нас были отдельные электрические счетчики, и соседка додумалась мылом приклеивать волосок на входные отверстия розеток – контроль за энергетической автономией. Часто волосок отваливался в силу естественных причин, но для Любы таковых не существовало. Отец мой, человек богатырского сложения, в дни скандалов обещал отлупить тщедушного инженера, поскольку тот не в силах укротить свою воинственную жену. Абрам вздыхал беспомощно, и взгляд его говорил: что ж, бейте.

Это было правильно, отец никогда не ударил бы беззащитного.

Потом Люба родила, и в нашей переполненной квартире появились еще двое – младенец и кормилица. Через месяц после рождения ребенка Люба сбежала от него на работу. Кормилицу звали Степанидой, была она крепкой деревенской девахой с необъятными грудями, крепкими ногами. По дому она ходила в одном и том же вечно распахнутом халате. Она сводила меня с ума: каждый раз встречаясь в коридоре или на кухне, будто бы невзначай притрагивалась к моим штанам, где обретался предмет мальчишеского беспокойства. Стерва! В своих горячечных видениях я насиловал ее, опрокинув на пол в коридоре! И... Совестно признаться, снова и снова выходил из нашей комнаты, с нетерпением ожидая ее появления, этого ее бесстыдного жеста и понимающей усмешки сожительницы.

Проклятые и сладкие томления плоти! Я уже понимал, что переживать их приходится не только мне и моим сверстникам. В шестнадцатиметровой комнате мы жили четвером. У старшей сестры уже был парень, и я не сомневался, что отношения их далеки от того, что родители, успокаивая себя, называли дружбой. Как-то они отправились компанией за город с ночевкой в палатках и взяли меня с собой. Надо отдать им должное, ребята умели веселиться, даже мне, чужому и чересчур юному, скучно не было. Они умели петь туристские песни, резвились, как дети, прыгали с обрыва в речку – кто дальше... А между делом парами заныривали в палатки, не дожидаясь окончания дня. Наутро они решили повеселить друг друга, развесив по всему лагерю надутые презервативы, которые я в своей жизни видел тогда впервые.

Наташка, лучшая подруга сестры, то и дело норовила прижаться ко мне, изображая из себя мужчину, овладевающего любовницей. Я тогда не мог понять, зачем взрослым, искушенным людям дразнить таким образом малолеток? Уж взяли бы затащили к себе в постель или куда еще, в ту же палатку, например, и показали, что к чему на самом деле. Видимо, существует какая-то грань, переступить которую они считают для себя невозможным. Еще и потому я делал вывод, что все взрослые – идиоты: в своих играх они, точно дети, не думают о последствиях.

И вот наконец деда Сабурова снесли. Мы видели, как уводили корову со двора, слышали, как визжали свиньи под ножом, и не придали этому

особого значения, хотя время для заготовки мяса было неурочное. Потом дед несколько вечеров кряду ходил по периметру вдоль своего забора, точно вымерял, сколько ему земли отпущено. Дом не перевозили, дворовые постройки не разбирали, как это делается для дальнейшей пользы. Все раскатали бульдозером, обратили в мусор и вывезли на свалку. День – и на месте усадьбы со стайками, сараем, дровяником, садовыми посадками и огородом образовалась ровная площадка. Еще несколько дней – и там же вырыли котлован, из чего мы заключили, что в нашем дворе будет построен еще один дом. Из всех дедовых насаждений в живых осталась старая яблоня, которая давно уже не плодоносила. Она стояла чуть поодаль от большого тополя, очевидно, близкого ей по возрасту, и смотрелась сиротой.

В те дни мне пришла в голову мысль, что и Ритин дом, стоящий неподалеку в ряду еще нескольких уцелевших среди новостроек, скоро будет снесен. Куда девались дед с бабкой – так никто из нас и не узнал. Да и не узнавали. Отчего-то любопытство по тому или иному поводу просыпается в нас с большим опозданием. Я и вправду хотел бы сейчас узнать, что случилось с последними крестьянами Октябрьской площади города Барнаула. Увы, спросить уже не у кого.

Котлован сначала превратился в общедворовую помойку, а весной заполнился талой водой и стал похож на озеро. Как-то мать рассказала отцу местную новость, якобы в котловане забили ключи.

– Во-во, – молвил он с обычной своей невеселой усмешкой. – Запустим рыбу и по вечерам будем сидеть с удочками.

Мы пересекали водные просторы на плотках, связанных из всякого мусора, даже устраивали морские бои. Мало кто из нас не падал в ледяную воду, бывало с некоторыми – и не по одному разу на дню. Биты за это мы были нещадно. Первая часть кары – за порченную одежду и обувь, вторая – профилактика, ибо родительский страх рождался не на пустом месте: котлован был нешуточно глубок, утонуть в нем любой мог запросто. Несколько мальчишек, накупавшись, схватили воспаление легких, среди них был и я. Володька по прозвищу Чихал (вот ведь ирония судьбы!) простудился так, что не отошел от болезни до конца своей жизни и умер совсем молодым. Володька был одним из самых яростных громила дедова хозяйства, и в какой-то момент я подумал, что его болезнь, наши саднящие от порки задницы – месть бывшей сабуровской земли.

Соседи наконец-то съехали, и теперь вся квартира была в нашем распоряжении. Меня отдали в музыкальную школу учиться играть на баяне, по резонам отца – чтобы я стал грамотным музыкантом, не то что он, самоучка, не знавший нот. Для матери главное – чтобы не болтался на улице после уроков. Я согласился, потому как музыке в той же школе училась Рита. Мой преподаватель, едва обучив меня азам, понял: трудиться над постижением исполнительского мастерства я не буду, и дал мне программу выпускного экзамена.

– Ковыряй! – сказал он с отсутствием надежды в голосе. – Может, за оставшиеся три года доковыряешь.

Летом меня отправляли к дедам в деревню. Надо полагать, материны родители были первыми дачниками в этом населенном пункте, расположенном в сорока минутах езды на пригородном поезде от города. Сейчас дачи погребли под собой всю деревню, а тогда местные жители знать не знали и слова-то такого – дача. Дед же, наученный ленинградской блокадой, схватился за землю, зная, что она пропасть не даст.

Отец строго наказывал старикам, чтобы я каждый день тренировался на инструменте.

– Пускай вот это играет обязательно, – стучал он пальцем по нотной тетради.

Баян был, кстати, изготовлен на ленинградской фабрике музыкальных инструментов, голосистый, с каким-то редким тембровым окрасом. Дед выставял табурет посреди двора, гордо оглядывал пространство и командовал:

– Играй!

Я на слух разучил любимую дедову «Вот мчится тройка почтовая» и без устали наяривал эту несложную мелодию. Дед уходил в огород, чтобы не показывать слезы, а вся деревня будто замирала, вслушиваясь в протяжные звуки грустной старинной песни.

Жить мы стали заметно лучше, сытнее и свободнее в расходах. В квартире появился дорогой немецкий мебельный гарнитур, отец стал ездить на курорты лечить свой испорченный беспризорной жизнью и войной кишечник. Но, странное дело, радости в доме не прибавлялось. Не умевшие отдыхать родители продолжали работать сверхурочно, уставали и дома почти не разговаривали друг с другом. Я был свидетелем нескольких отцовских вспышек, когда он вдребезги разбивал о кухонный стол материны бухгалтерские счета, но скандалы повторялись, а ничего не менялось.

Костяшки счет стучали по ночам, отец засыпал с газетой на диване, в редкие выходные мог пролежать таким образом весь день. У родителей не было друзей, ни с кем они не водили компанию. По праздникам ходили к родне, крепко выпивали, пели песни под отцовский баян.

Герка где-то потерялся, не дойдя с нами даже до седьмого класса. Во дворе он тоже не появлялся, и кто-то запустил слухок, будто он попал в колонию для несовершеннолетних. По другой версии, родители перевезли его из густонаселенной своей квартиры к родственникам на окраину города и он поступил на учебу в какое-то техническое училище.

Пока мы переходили из класса в класс начальной школы, она, школа наша, успела побыть семилеткой, потом одиннадцатилеткой, затем восьмилеткой. Нам тогда казалось, что все школьные реформы испытывают именно на нас. Наивные, что-то сказали бы мы по этому поводу сегодня!

Но вот и подошел к концу восьмой. Перед самым выпускным вечером я подстригся наголо – последний протест против вечного гонения на мой стилижий кок. Противу торжественных правил надел черную рубашку, а вместо нормального галстука нацепил шнурок с обезьяньей головой на месте узла и металлическими наконечниками. Директриса, увидев меня, сделала кислое лицо и громко отдала распоряжение физруку, чтобы он проверил наши парты на предмет спрятанного там алкоголя. Физруку до чертиков надоела мы, надоела директриса, и он вместо того, чтобы повиноваться, отправился в свою каморку пить в одиночестве.

Не помню того вечера, потому что большее время провел, нарезая круги по школьному двору. Что к чему – сам до сих пор не знаю. Танцевать не умел и не хотел учиться, болтать с одноклассниками, которые теперь уже для меня никто, тоже не хотелось. Самое сильное ощущение – каждый каждым чужой, будто и не было этих восьми лет. Все наши дружно решили идти дальше учиться в одну и ту же школу, я нарочно записался в другую.

В эту ночь Рита со всей своей семьей уезжала в Ташкент, насовсем. Не могу сказать, что это обстоятельство сильно меня огорчало. Ну, уезжает, и что с того? Я, скорее всего, тоже куда-нибудь уеду... И ждать окончания школы не стану. Было грустно, однако это настроение я не связывал с отъездом Риты, как-то чувствительно оглушила вдруг образовавшаяся пустота – вокруг меня и вообще.

Наверное, это куда правильнее, чем все время жить в городе, где родился, учился, вырослел... Слишком разительны перемены вокруг тебя и зачастую — болезненны. Чересчур безобразно старение знакомых лиц.

Мы отправились на вокзал всем классом. Я уж было подумывал сбежать, но, сам не знаю почему, остался. Девчонки шмыгали носами, родители Риты как-то смущенно переминались с ноги на ногу возле вагонных дверей. И тут я вспомнил про деда Сабурова: если уезжает вся семья, то и дед с бабкой тоже должны быть где-то здесь. Однако их не было. Ни среди уезжающих, ни в толпе провожавших. Светка тоже не пошла с нами, она сидела в опустевшем классе и размазывала слезы по щекам.

Наступил момент, когда все слова прощания уже сказаны и время становится лишним, избыточным. И опять — вокруг чужие люди, отторгнутые друг от друга, как это ни странно, годами тесного соседства. Каждый чувствует неудобство, неловкость, вину за свое неумение справиться с этими долгими, ненужными минутами. И в голове у всех одно: скорей же, скорей!

Ко мне подошла Рита. Какая она взрослая! Будто я увидел ее сейчас впервые. Незнакомая, далекая, чужая... Она не уезжает, нет, она только что приехала из неведомых краев и понимает, что очутилась неведомо где, она прожила уже несколько жизней — свою, умноженную на число нас, ее одноклассников. В ее хризолитовых глазах отражаются перронные огни и незнакомое далеко.

— Приезжай, — сказала она и притронулась к моей стриженной голове. — Я выйду за тебя замуж.

* * *

Ровно через семь лет на мой служебный адрес пришла телеграмма из Ташкента. «Приезжай. В твоём распоряжении три месяца».

Никуда я не поехал и потом каким-то маленьким осколочком себя жалел об этом, как жалеет большинство о многом, что могло бы случиться, но не произошло и потому не принесло разочарований.

Никого из людей, стоявших в ту ночь на перроне, я больше не видел. Из одноклассников встречаю только Светку. Редко и случайно, на улице. Может, и другие пройдут когда мимо, но я их не узнаю. Глядя на свои фотографии той далекой поры, не узнаю и сам себя. Постарел. Все постарели. Светка рассказала, что Рита стала доктором физико-математических наук. Кто бы сомневался! У нее узбекская фамилия и куча детей. У самой Светки тоже семья, но она ее не видит, потому что вот уже третий десяток лет сидит у постели больного отца. В это трудно поверить, но уж такая она и есть — ей для себя ничего не надо.

За время, прошедшее после окончания нами школы, мир изменился так, что я взираю на себя и своих сверстников как на нечто доисторическое. Мои многочисленные попытки приспособиться к новой жизни одна за другой терпели неудачу, и однажды я подумал, что жить в этом мире попросту не имею права.

Как-то в руки мне попала бумага с требованиями для переезжающих на постоянное место жительства в Австралию. Возраст, язык, профессия — я не подходил ни по одному пункту. Впрочем, известно, Австралия — самая трудная для эмиграции страна. Потом познакомился с русским австралийцем, увезенным родителями из России в юном возрасте. Он стал известным певцом, но сюда приехал не на гастроли, а всего лишь повидать родину. Поет и вправду хорошо — арии из опер, романсы, по-русски шпарит без запиночки. И пьет по-русски. И плачет пьяный, жалея себя, оторванного от родины. А мне жалко родину, сказал я ему и предложил поменяться. Он согласился. Мы сидели у него в номере и пьяные играли в подкидного дурака, решив, что просто так поменяться паспортами — это скучно.

— Давай выиграем, — предложил он, — ты у меня, я у тебя...

Так не бывает, подумал я и в конце концов выиграл все, что у него было: паспорт, доллары, часы. Я с сожалением смотрел на кучу этого добра, использовать которое мне не придется. Как много дается нам всего лишь для того, чтобы некоторое время подержать в руках!

Я до сих пор хожу в наш старый двор. Это удивительно, однако почти никого из прежних жителей не осталось. Иные умерли, большинство поразъезжалось. Уехали и мои родители, которых в этом городе ничто не держало, уехала сестра. Наверное, это куда правильнее, чем все время жить в городе, где родился, учился, вырос. Слишком разительны перемены вокруг тебя и зачастую – болезненны. Чересчур безобразно старение знакомых лиц. Старость вообще малопривлекательна, а когда она пожирает кого-то на твоих глазах – это действует удручающе. Ощущение – ты живешь среди множества зеркал, и великое количество их лишь усугубляет ситуацию: в какое ни посмотри – видишь одно и то же.

На месте котлована сделали спортивную площадку, и некоторое время она была лучшей в городе. Сейчас на ней все запущено, разорено. Не удивлюсь, если в скором времени здесь снова появится котлован, а следом и новое строение. Такие места в центре города нынче подолгу не пустуют. На месте Ритиной усадьбы – пятиэтажный дом с молочным магазином и кучей всяких офисов на первом этаже.

По-прежнему перед окнами общежития возвышается тополь с развилкой, жива и старая яблоня, оставшаяся от деда Сабурова. Несколько поколений, выросших в нашем дворе, делали на стволах затеси в виде матерков и инициалов любимых девчонок. Их затагивало корой, а вернее, самим временем. Оставались шрамы. Все стволы сплошь в шрамах. «Эх ты, человек! – вздыхают оживающие по весне кроны. – Ты уходишь, за тобой приходят другие – и все со старыми глупостями. А нам еще жить да жить...»

Я попросил сына выяснить по Интернету, сколько от нас до Австралии.

– Нигде не сказано, – сообщил он, – вот от Москвы до Сиднея – пожалуйста, четырнадцать с половиной тысяч километров.

Ну а от нас до Москвы – около трех с половиной. Мы на прямой линии от нашей столицы до австралийской, стало быть... Арифметика простая. Зачем мне надо было это узнавать? Понятия не имею!